

18+

Михаил Садовский

Белые вороны

Роман



Михаил Садовский

Белые вороны. Роман

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54293054

ISBN 9785449872432

Аннотация

Книга повествует о женщине, которая после излечения от онкологии обнаружила у себя способность рисовать. Её талант высоко оценивают профессионалы. Она пытается понять, как происходит, что она может создать на бумаге образы, рождённые её мыслями. Хирург, спасший ей жизнь, признаётся ей в любви, она не безразлична к нему, но любит мужа и не представляет жизни без него. Когда болезнь вновь возвращается, она верит, что два любящих человека сделают всё для её спасения.

Белые вороны

Роман

Михаил Садовский

Светлана Чеканова *Корректор*

Ольга Колоколкина *Художник обложки*

© Михаил Садовский, 2020

© Ольга Колоколкина, художник обложки, 2020

ISBN 978-5-4498-7243-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Памяти моей жены

Маргариты Садовской.

Без тебя не было бы этой книги.

Вероятнее всего, мы бы никогда не узнали о жизни людей, которым посвящены эти страницы, если бы они не оказались связаны с судьбой одного из них, мелькнувшего, как малая вспышка от рождения звёздочки, оставшейся на небосклоне в бесконечной Галактике и затерявшейся среди неисчислимого количества таких же, похожих. Но с течением времени каждая из них может обрести номер или даже имя, потому

что окажется связанной с судьбой, орбитой, существованием более крупной звезды. Пути господни неисповедимы, может быть, присвоение ей имени или даже просто многозначного номера – начало нового пути небесного вечного тела, может быть, оно окажется связанным с важным событием или процессом. Может быть, ляжет важной частичкой в мозаику мироздания.

Так в искусстве высвечиваются вдруг неожиданно люди. Они своим порой совсем кратковременным появлением и творчеством, не похожим ни на чьё предыдущее, открывают новые пути или создают нечто интересующее и волнующее многие годы или века всех, кто знакомится с их творениями, как гениальные фрески Тассили, находки Шлимана или наскальные рисунки далёких безымянных предков, куранские обрывки великой Книги.

Стоит сказать, что не известность или слава вызывают больший или меньший интерес, а само явление, появление такого феномена, который хочется понять, вникнуть в его суть и возникновение. Когда яркая новая страница творчества ничем не была заранее хотя бы намёком предопределена для окружающих, как и для самого этого человека, и удивляет его не менее, если не более, чем всех остальных.

С развитием человечества, когда оно подошло уже к желанию создать искусственный разум, ответ на эти вопросы становится всё более актуальным. Трудно представить себе достижение цели, используя логическую цепочку процес-

са, в которой будет отсутствовать самое главное звено: чувство, реакция живого организма, его эмоция, не воспроизводимая даже самим этим организмом, неповторяемая, всегда новая, свежая, отличающаяся от аналогичной, пусть совсем недавней. Так, копия картины гениального художника – всегда новая картина, исполнение гениальным пианистом того же самого произведения – всегда иное, не повторяющее буквально предшествующее, и конечный вариант стихотворения – плод длительных, а порой и мучительных поисков соответствия слов их побуждающему чувству и эмоциям, им рождаемым. Черновик Пушкина рассказывает об этом точно и неоспоримо. А рисунок ребёнка никогда и никем не может быть повторён, потому что нет возможности войти в его непосредственность и эмоциональное состояние, которые водили детской рукой. Зачитанная до ветхости, любимая книга привлекает нас прочесть её снова, и каждая такая встреча с ней – новое свидание с похожими, но совершенно новыми нашими эмоциями. В этом и есть суть творчества – уникальность, неповторимость, невозпроизводимость – по черк.

Эмма думала об этом часами и уже больше не удивлялась тому, что происходит с ней, благо теперь, в уединении, у неё было достаточно времени, и ничто не отвлекало её, как прежние заботы ординарной жизни.

Даже мысли её о близких людях стали совершенно другими, и то, что было привычным и не требовало никаких

объяснений, теперь невольно стало предметом долгих поисков в памяти поступков, ситуаций, сказанных слов для понимания и сомнения в устоявшемся годами, казавшемся единственно возможным и неизменным.

Она пыталась перешагнуть время, смещала события, тасовала их, не прибегая к логике, и это открывало совсем неожиданное их понимание, как вид на долину по мере восхождения на гору, как смысл строфы, прочитанной в разном возрасте. И ещё – смена отношения к предмету, о котором мечтала долгие годы, и, обретя его, удивлялась: а почему и ради чего?

Странную жизнь прошёл Фортунатов. Иногда судьба окликала его и пыталась что-то сказать, дать совет, но он только отмахивался. Он всегда знал, чего хочет и что делать для того, чтобы осуществить желание, а теперь растерялся – не было ни одной прямой дороги. Хотел оглянуться назад, вспомнить что-то похожее из своей жизни, какую-то ситуацию, конфликт и как всё это разрешилось – он всё помнил чётко, и будто вчера это было: краски, запахи, дороги... а вот почему поступил так – не мог припомнить. Поскольку оказался ленив, дневников не вёл, не анализировал и не записывал, а те самые важные детали и мотивы поступков совершенно пропадали в потоке событий. Всё происходило последовательно и, казалось бы, обоснованно, но вдруг сейчас, по прошествии лет, закрадывалось сомнение о прошлом: правильно ли поступил, туда ли повернул? И он не мог

ответить себе. Отпустить бы всё это! Прошлое – осталось на том берегу, и нечего туда возвращаться, новых проблем не меньше, и надо их решать, преодолевать пороги и перевалы, но почему-то тянуло назад, и виделось нечто уже прожитое, и, оказывается, не всегда удачно. Вот бы вспомнить подробно, как оно всё было и почему так поступил или никак, ничего вовсе не делал, а плыл по течению, как шли день за днём, так и жил.

Вдруг он решительно брался за перо, доставал старую общую тетрадь с прилипшими навсегда к клейкой коленко-ровой обложке кусочками бумаги и пылинками, открывал её, пролистывал страницы со старыми записями, сделанными в такой же решительный момент бодрого дня, доходил до свободной пожелтевшей страницы и застывал над ней. В задумчивости пробовал шарик ручки на каком-то подвернувшемся листочке – мягко ли пишет и не мажет ли. Долго сидел, потом закрывал тетрадь и откладывал до вечера или до утра – «сформулирую и напишу», что было как афоризм – и доказательно, и неколебимо. Но редко случалось, что возвращался к медленно угасавшему побуждению, чтобы не утратить его вовсе, потому что думал: а что особенно в том, что я хотел записать, объяснить, сохранить? Да ничего. Ему бы именно и записать это ускользающее чувство, мысль момента, сам момент – поймать время. Тогда, сложившись в эти мало значащие прожитые отрезки позволили бы восстановить, как оно было, и объяснить, почему он прожил

каждый следующий день так, а не иначе. И ничего не значащее сегодня «сегодня» через месяц, год, а может, десять лет стало бы наверняка интересным и значимым, пусть даже только для него, и помогло бы ему уже не тогда «сегодня», а именно в данный момент, именно сегодня! Из этих точек и составила бы линия его жизни и поступков, что подсказало бы ему: как быть? Было же похоже. Что делать? было же уже так...

Но Фортунатов был ленив именно в этом, видимо, ленив непреодолимо. Друзей поражало, когда он начинал рассказывать о прошлом с такими подробностями, будто именно в ту минуту смотрел на картинку или какую-то внутренне движущуюся ленту и транслировал остальным то, что видел сам.

– Лёнь, неужели ты всё это помнишь? – спрашивали его прожившие не меньше и знакомые с ним давно.

– Помню, представляешь, помню! Разве такое выдумаешь... это же на правду не похоже, а как плохое кино... но плохое кино второй раз смотреть не будешь, а это прожитое, такое закрученное и неправдоподобное, забыть не можешь, и хоть на детекторе лжи проверяй – всё повторишь слово в слово! Когда выдумываешь, так не бывает, обязательно приврёшь чего-нибудь, пусть даже совсем незначимое, а уже не та картинка и мелодия не та...

– Так ты бы записывал, что ли! – говорили ему часто.

– А зачем? – перебивал он. – Не моя это работа!

И в этот момент вспоминал всегда о свой общей тетради, о которой никто не знал. «Вот и хорошо, что не записал! А то было бы опять как у всех. А главное, стал бы писать – оглядывался бы всё время: а как это потом, когда прочтут, будет? – возражал он себе. – Зачем всем знать это? Да чего там прочтут?! Обязательно, что ли? А если не прочтут, зачем писать-то?!».

Дотарахтели они по застругам на заматаемом шоссе на перевозке довольно быстро – что там 20 миль по хорошей дороге и при вполне приличной видимости. А потом, пока её принимали, он заполнял какие-то бумаги, подписывал разрешения, что у неё возьмут кровь на анализ, что она должна в стаканчик нацедить драгоценной своей жидкости на другой анализ и что она разрешает делать операцию... она сама не могла написать. Потом прибыла целая команда из другой клиники, из которой вчера звонили и объяснили, что в том госпитале, в который они поедут, нет таких специалистов и такого оборудования и что это обычное дело, когда коллеги приезжают к хирургам на особо сложные операции. Потому что они неврологи, а при движении внутри организма хирург будет их спрашивать, можно ли двинуться ещё на миллиметр, или это опасно и даже смертельно. А она уже лежала на каталке, укрытая нагретыми одеялами, потому что её знобило от волнения, и меловые щёки как-то впали вдруг, и, если долго пристально смотреть на её лицо, по ним пробежала какая-то лёгкая судорога, будто муха села на мгновение, а кожа

среагировала и сократилась, чтобы согнать её...

Время текло так уравновешенно медленно, что уже показалось, что все эти сёстры и помощники в белых халатах не ходят, а плавают вертикально вокруг неё и тоже томятся и не знают, как быть...

«А что, какие-то сложности возникли, анализы плохие?» – переспросил Фортунатов, но его уверили, что всё в порядке, что сейчас эта команда, которая приехала помогать, опутает её проводами и установит свои приборы – сейсмографы жизни, как он их нарёк, и к тому времени подъедет доктор! Он уже звонил, заканчивает в другой клинике операцию и через сорок минут будет. «Сорок минут!» – оглушило его... и он опять стоял рядом, держал её за руку и сам ощущал, как её дрожь косичкой переплетается с его дрожью. Тогда он начинал гладить её кисть, свисавшую чуть-чуть за край каталки, и что-то бормотать ей, успокаивая и её, и себя...

Проводки разноцветные, одинокие и пучками, уже опутали всю её: шею, плечи, грудь, предплечья, даже под груди ей приляпали чпокающие присоски, от которых тянулись эти ниточки страховки к каким-то подмигивавшим ящикам со стрелками и кнопками...

Она задрёмывала, потом открывала глаза, искала его и только губами произносила тревожно и нежно: «Лёньчик, Лёньчик, Лёньчик Лёнечка...». Ему очень нравилось, как она мягко и сладко произносила его имя, и он подтягивал

и подправлял совершенно не требовавшее этого одеяло...

А доктор всё не ехал. Фортунатов больше не спрашивал о нём. Он вышел в соседнюю комнату, где было окно, и почувствовал, что закружилась голова и стали слабыми колени: в окне была рождественская метель. Двадцать пятое декабря вдруг совершенно отчётливо мелькнуло в его голове... Он застрял где-то и вообще не приедет.

И эта дикая боль, сводящая жизнь к бессмысленному существованию, опять накинется на неё и будет грызть, пока он сможет это видеть и слышать её стоны, а потом он отключится, потеряет связь с миром, и она останется одна в этой метели боли, мгновенно покрывающей всё: слова, дыхание, свет – и оставляющей только одно ощущение – саму страшную боль, боль во спасение, потому что она одна кричит о помощи, и она одна скажет, пришла эта помощь или нет, утихнув и исчезнув бесследно.

Господи! Пойти оборвать все эти провода, схватить её и унести отсюда, задыхаясь! Тащить сквозь метель, как тогда без дороги, вслепую, с залепляющими лицо и глаза горстями снега, напрямую за оглядывающейся собакой, поджидающей всю дорогу и просящей: «Скорее, скорее! Иди, пока можешь, за мной, иди, иди – там спасение, иди через силу! Как я, за мной – мне уже снега по брюхо, но я же ползу, и ты иди – тебе снега всего по колено! И не останавливайся, потому что каждый раз, как ты остановишься, потом, чтобы двинуться дальше, встряхиваешь её на руках, чтобы лежала

повыше, ближе к плечам и могла крепче обхватывать твою шею! Ну, иди, иди монотонно и не считай шаги! Видишь, я задираю нос и чую запах. Хорошо, что ветер в нашу сторону! Иди, уже близко! И не останавливайся, потому что, если ты отстанешь, потеряешься сразу в трёх шагах, уже не сможешь понять, куда двигаться дальше, а мне возвращаться придётся, и я тоже тащусь из последних сил! Ты что, не слышишь, как я взлаиваю и подвываю, не потому, что жалуясь. А чтобы вы не потерялись в этой белой буре, где черти выдают замуж ведьму, а люди...».

«Что там за движение и голоса? Приехал доктор? Нет, не приехал. И голоса решают, что делать, сколько можно держать пациента на каталке, и связи с доктором нет. Непонятно, что случилось, что делать? И надо сказать супервайзеру, чтобы не назначали никогда операции на Рождество, потому что это день Господа, а не людей, и надо быть ко всем толерантными, и к Господу тоже, тем более...»

– Вам плохо? – тронули его за плечо.

– Мне? Разве?

– Но вы час двадцать минут стоите на месте, не шевелясь!

– Приехал доктор Нордстрём?

– Нет! Но вы знаете, что он приедет...

– Я???

– Да! Он приедет обязательно, потому что он прекрасный доктор, и второго такого поискать по всему свету...

– Такая метель... Рождество... может быть...

– Нет. Он придет. И всё будет хорошо...

Кто знает силу слова, особенно когда его говорит человек в белом халате. Рождество... Христос родился, может, и она родится снова в этой метели, и как это записать, чтобы потом вспомнить и почувствовать то же: одно неточное слово – и всё враньё, всё напрасно и никому не нужно... А так: доктор Нордстрём где-то прорывается сквозь метель, и, может быть, оборвалась связь, и сломалась машина, завязла, застряла, налетела на другую – это же всегда так бывает – всё разом, беда никогда не приходит одна... Ну, не беда, не все беды разом, сказала же эта в белом чепчике, она монахиня, да? Она умеет видеть в метели? Всё будет хорошо? Что хорошо? Приедет доктор – хорошо? Сделает операцию – хорошо? И эти проволочки охранят её – хорошо? И он увезёт её через два дня – хорошо? Здесь ведь долго не держат: два дня, и хватит – хорошо?

Фортунов был там, откуда ненадолго вернулся. Доктор приехал, и уже четыре часа все ходили с напряжёнными лицами и ничего не говорили, а он сидел возле палаты на диване, неожиданно впадая в дрему и проваливаясь в белую стужу. Выла собака, чтобы он не заблудился, руки не разгибались, будто навсегда так застыли от тяжести полусогнутыми, мутило от голода, но он не понимал этого и ничего не спрашивал ни у кого, будто всё, что происходило рядом, его не касалось и шло так, как бы шло и будет идти без него. Он вспомнил имя и фамилию дочери, написанные на квад-

ратике клеёнки, привязанной скрученным в тесёмку бинтом к её ножке в роддоме, как судьба – может быть, вот эти сигнальные светящиеся диоды и стрелки на шкале, привязанные к ней проводочками, тоже бирка её судьбы, и тут ничего не изменишь, и не подправишь и даже не прочтёшь ничего...

Собака спала на боку, лапы её вздрагивали, она их полусгибала и потом выпрямляла, будто вытаскивала из чего-то вязкого. Когда кто-то проходил мимо неё в сени, она чуть поворачивала голову, открывала один глаз и снова проваливалась в сон. Его товарищ – врач, пробившийся сквозь метель, прощупал Эммину ногу – всю, а не только распухшую лодыжку, потом так же для сравнения другую ногу и уверил, что никакого рентгена не надо, перелома нет и вывиха нет, обмазал щиколотку от подошвы животным жиром с болюсным запахом, натянул поверх грубый колючий шерстяной носок, замотал шарфом и велел лежать трое суток... минимум. И метель крутила трое суток. Была она какая-то весёлая и бесшабашная: кидалась на окна, подвывала в каких-то щелях и гнусавила в трубе и в сенях. Не было уже ни страшно, ни одиноко, потому что ничего нового не могло случиться в грядущие три дня. Хотелось тоже повалиться на бок подобно собаке и изредка открывать глаз, чтобы убедиться, что нога в прежнем положении, метель так же не утихла, а пока она не захочет отдохнуть, ничего не может случиться в этом мире.

«Ну, тогда мы были моложе! А моложе – всегда лучше:

и заживает быстрее, и запоминается легче, как новенькое, и забывается проще...

Ничего из прошлого не пригодилось. Может быть, только тот же снег, тысячу раз выпав и растаяв, сегодня тоже крутится в метели, и снежинки узнали нас, но они уже никогда не повторят тот свой улетевший в метели день и никогда не скажут об этом...

И разве может такая репетиция пригодиться хоть однажды – всё будет по-другому. Ничего не значит ни это бесконечное ожидание приезда, ни это бесконечное ожидание конца операции... Тогда он не думал, что ещё не раз так будет в жизни...

Погаснут огоньки. Стрелки вернутся на нули, и жизнь потечёт своим чередом дальше. Только бы это случилось, сколько бы ни надо было ждать! И чтобы каждое Рождество вспоминать потом с удивительно чёткими деталями всё, что было в той метели, и чтобы не верилось, что ничего не потерялось: ни одна клеточка жизни – ничьей.

Только так не бывает».

Он это чувствовал, будто знал точно.

«Сам согласился, – думал Нордстрём. – Кто же знал, что будет такая погода...». Горячий воздух дул на ветровое стекло, и заряды снега бешеного бурана таяли на нём, но щётки размазывали эту снежную кашу по стеклу, и каждый следующий заряд образовывал новый слой, не успевающий растаять и стечь. Щётки скользили уже не по стеклу, очищая его,

а по этой всё нарастающей наледи. И сквозь её матовую корку виден был заваленный снегом капот до торчащей на его носу эмблемы, дальше впереди всё сливалось в одну белую, неизвестной толщины снежную массу. В такие бураны даже бывалые люди не пускались в дорогу, а тут еще поспеть ко времени... Он посмотрел на светящиеся часы и понял, что уже опаздывает на два с половиной часа. «Скоро начнёт смеркаться, и тогда ехать станет вообще невозможно». Он остановил машину, вышел в дикую круговерть и стал скребком сбивать леденеющий снежный слой на стекле. «Где это я читал, давно правда, как мальчик тринадцати лет поехал в соседнюю деревню на подводе, запряжённой парой, и попал в такой внезапный дикий буран? Лошади не могли больше идти и стали. Он начал замерзать и вспомнил рассказ отца, как тот совсем ещё мальчишкой спасся в таком буране: убил лошадь, взрезал ей живот и влез в её горячие внутренности... их занесло снегом, но через сутки, когда его нашли и откопали, он был жив, хотя и простыл сильно, но жив! Болел потом, но жив! И тот мальчишка спасся так... а мне что делать? Хорошо, что связь пока не оборвалась... Может и такое случиться... Пациент готов, команда неврологов с приборами на месте, а мне ещё ехать и ехать». Он снова забрался в жаркую кабину, щётки легко проскальзывали по поверхности нарастающей корки и ударились с противным непривычным стуком в конце то ли в закоченевшую резинку, то ли в бугорок льда на корпусе машины. «Вот тебе и джип! Джип-

хлип... ни черта не стоит это всё перед стихией, природа и вселенский хаос устраивает, и на ниточку нерва опухоль насаживает, как бусину, и попробуй её убери так, чтобы нерв не задеть, не сделать человека неподвижным инвалидом».

Мысли тоже заметали его дерзко и беспорядочно. Врач, который спасал отца, был здоровый детина с огромными руками, и Свен никак не мог понять и поверить – как он такими клешнями мог держать тонкие инструменты и оперировать? «Сколько мне тогда было? Десять-одиннадцать! Может, если бы я тогда не поклялся, что стану таким же хирургом – даже не знал, как эта специальность называется, – может, я бы сейчас не полз, как улитка, по дороге, которой не видно, подсакивая на этих намётах снега, которые тут же под напором ветра так уплотняются, что колёса тяжёлой машины не продавливают их! Вот тебе и „вольво“ – лучший джип! Впарил этот дилер мне его нахально и уверенно... да, что уж, будто на другом было бы легче!»

Ему повезло наконец: мимо полз «хаммер», и Нордстрём рванул машину, чтобы попасть в его колею и держаться за ним! Не смотреть на дорогу, сбавить скорость щёток, и в протаявшую от горячего воздуха щель, как в танке, видеть только задний бампер спасительного попутчика... «Только бы он не свернул, только бы не свернул! Вот тебе и детская клятва – всё решено за нас... при чём тут моя клятва... хотя, кто знает? Только бы не свернул до поворота на госпиталь! Там огромный щит, и я не пропущу его, про-

сто интуитивно почувствую!.. Только бы не свернул! Тогда всё будет хорошо... Я же сказал им, что еду. Значит, они ждут, и раз ждут, неврологи не уедут – всё будет хорошо, надо успокоиться, чтобы не дрожали пальцы, чёрт возьми... это надо же – такая погода, и Дженифер ни в чём не виновата, я сам согласился. Этой пациентке действительно страшно больно, и в праздник, когда всем весело, становится ещё больнее. Я знаю, какое-то дежавю... то же самое было с отцом. Если бы не он, я бы никогда не пошёл по этой дороге. Сколько лет я добивался своей частной практики? Одиннадцать, потом шесть в университете, потом медицинская школа четыре года и ещё ассистентом три года, а потом в госпитале на привязи два года... Господи, я начал в тридцать три... ага, тридцать три, как Христу, и почему это именно на Рождество мне так выпало? Опять Дженифер. Ну да, она знает, что у меня батарея в телефоне не сядет, и зарядка всунута в прикуриватель...»

– Да! Да! Уже близко... я не могу сделать буран покладистее или дать ему анестезию и вообще успокоить хоть на полчаса, пока я доеду наконец до вас... хорошо! Согласен! Больше никаких операций в праздники! Да! Будем встречать их вместе в процедурном кабинете. Конечно, сегодня!

Когда Фортунатов искал врача и наткнулся на этот неизвестный коллектив нейрохирургов, поехал советоваться к другу – не было времени на долгие поиски. Боль – самый лучший советчик: «Сделай что-нибудь, что угодно, только

убери её, выключи, успокой, вырви с корнем, как сгнивший зуб...». Додик сказал: «Не сомневайся, в нейрохирурги случайные люди не идут, там остаются те, кто достоин! Они прошли всё, и такое!!! Раз не отступили – это надёжные люди...».

Отец его умер, потому что поздно хватились. Это потом Свен разобрался, когда уже мог и имел право высказать своё мнение. Оно уже у него было – не чужое, не сравнение по учебнику и не высказанное в присутствии учителя, а своё! И он почувствовал, что должен преодолеть всё и добиться такого уровня, чтобы спасти, может быть, чьего-то отца и подарить несколько лет света какой-то потерявшей надежду матери... его-то мать, слава богу, жива в свои девяносто два – «Самому бы так...».

– Потом про страховку, – успел он опередить Дженифер, – напишите им, пусть выставят ещё один билл небесной канцелярии, заведующей погодой! Начинаем! Мне горячего кофе, пожалуйста, и послаще! И начинаем, всё, всё потом – и все разговоры, и жалобы – ерунда всё это... страховка всегда недовольна, она молчит, только когда доит фонды себе в карман, это понятно... И ничего не говорите пациентам, они не виноваты, что в природе случаются катаклизмы и невозможно их избежать...

Теперь вокруг неё было шесть человек, и все смотрели на него, а он на маленького рыжего толстячка, который застыл, и только глаза его энергично переключались с прибора

на прибор. Они кивнули друг другу, не подавая руки:

– Привет, Роберт!

– Слава богу, Свен, ты здесь!

Резко и без теней лился свет, щёлкали мониторы, звякали тихонько инструменты, мысли текли независимо от того, что делали руки. И всё время крутился буран, шла и падала лошадь, мальчишка в тулупе забирался в её пузо, для того чтобы она его потом родила. Таял снег на её остывающем боку, и ничего не чувствующими пальцами он пытался свести края её разрезанного брюха. А та, чья жизнь сейчас зависела от его микронных движений, ничего не чувствовала и не могла думать и видеть воображения той главной небольшой массы тела, которую он умел отключать, чтоб ни одним ненужным импульсом, побуждающим движение, она не могла помешать ему спасти её от боли и небытия... Дженифер стояла у двери, не шевелясь, и молилась тихонько сквозь стекло. Снаружи было видно её внушительную спину, оттопыренную задницу и белый колпак на голове, так что даже кому-то, вдруг наплевавшему на горящую над дверью надпись «Внимание! Операция!», не могло и прийти в голову приоткрыть дверь и объясняться потом с «хозяйкой». Тихо. Там, за этими створками, край природы. Начало вечности. Ступенька, с которой можно подняться ещё на одну или слезть вниз.

«Что-то говорила Санита сегодня утром? – всплыло в его памяти, и он, как ни старался, не мог вспомнить... – Что-

то про собаку, по-моему, что надо её показать ветеринару. Только бы не вздумала сама в такую погоду тащиться. У каждой женщины свои заморочки. Что ей до моей собаки? Все и всех надо кому-то непрерывно показывать! Собаку, автомобиль, батарею поменять в сотовом... сплошная починка – и это каждый раз напрягает и сердит, чёрт возьми! Как мы оказались живыми и дееспособными? Ведь и дикари страдали, болели и умирали, и тоже они шли к кому-то за помощью непременно, хотя каждый сам умел многое... да, многое! Но никто бы из них не сделал, что могу я, да никому бы и в голову не пришло! Они просто не знали этого всего! А вдруг знали? Но тогда какие же они дикари! Построили пирамиды, выставили камни точно по солнцу, умели делать искусственные зубы и трепанацию черепа и высчитать по звёздам не только маршрут, но когда будет затмение... Но это же не дикари... а те, что раньше жили, тоже многое умели, но мир забыл это. Мир постоянно забывает! Когда-нибудь и нас будут называть дикарями, с нашими инструментами, машинами и понятиями. Интересно, кончился ли снег? Или придётся ночевать здесь, добираться обратно семьдесят миль в такую погоду... надо сначала поймать „хаммер“ и пустить его впереди себя... или вообще купить „хаммер“! Хорошая идея! Безумная! Ради одного дня в году держать этого армейского монстра и обихаживать его!..».

– Роберт, – сказал он, – замечания?

– Ты как всегда безупречен! Я восхищаюсь тобой! Дер-

жишь форму.

– Спасибо, дружище! Сейчас бы чашку горячего кофе и сигарету! Не знаешь, полегчало на улице?

– Этим распоряжается Дженифер...

– Обещаю всем, что больше Рождества не испорчу!..

– Но ей ты вернул ощущение жизни... через два дня она начнёт медленно забывать ощущение боли... Спасибо, Дженифер...

– Мы все любовались вами! Спасибо, док!

– Хорошо, пойду расскажу мужу. Он наверняка сходит с ума – четыре часа тридцать две минуты! А я обещал ему сорок минут на всё про всё...

Дежурство закончилось. Пока Марк после душа и кофе добрался до гаража через подземный переход, было уже десять. Он выехал и остановился чуть в стороне... «Чёрт... сто миль по такой погоде... часа три, не меньше... кажется, мне опять „повезло“. Я вспоминаю об этом в такие дни. Мало госпиталей, что ли? Нет, мне надо в один из пятидесяти лучших!» Он сделал круг, по знаку на столбе, и снова, чертыхнувшись, въехал в гараж. «Куда теперь податься? Дебора наверняка уехала... а может, они сегодня закрылись?..» Он забыл выключить двигатель и тупо смотрел на приборную доску... «Вот, дали им все права... когда это было, чтобы женщина управляющей была?! – он покрутил в голове ещё несколько имён и решил никому не звонить. – Если и отменили, опять досыпать завалились и начнут канитель на два

часа, что не убрано, что ещё не вставала, что... и эта Рэйчел, корова... кто её сегодня за язык тянул? Родила и радуйся, что кто-то на тебя позарился, и молчи, дура! Не тебе диагнозы ставить и пациентам высказывать... а теперь дрожит... если кто шепнёт, выгонят её, и финиш! Может, куда-нибудь кардиограммы делать устроится? Как она сюда попала?.. Меня, когда принимали, трясли, как...».

Вдруг мысли переключились, и пошла бегущая строка. «Этот менеджер – толстый кабан с одышкой: у него диафрагма подпёрта, когда сидит, и он всё время пытался инстинктивно подняться, нелепо разгибался, выпячивал живот, так что стол чуть трогался с места... что его вдруг взволновало моё образование? И рекомендации, и стаж – всё в порядке... нет, вот объясни ему: почему я не иду учиться дальше и не собираюсь ли я уйти сразу с хорошего места куда-то на более высокую зарплату? И никак он не мог поверить, что я на своё место пришёл, что не хочу я ещё шесть лет потратить на то, чтобы потом пытаться свой офис открыть! А деньги откуда? Значит, опять у кого-то на втором плане болтаться или возиться с такими рэйчелами! Дура... кто-нибудь стукнет или сама проговорится – будет жаловаться на судьбу! Эмма пожалуется Донато... вот как от неё избавиться? У этой Рэйчел кругом всё хорошо! И ребёнок за неё стеной, и контракт ещё на полгода, и жалоб не было – все же терпят, потому что – куда она одна с ребёнком... Дура! Это ж надо такое выдать: мол, чего ты с ней возишься – всё равно

не вытянет, с таким-то диагнозом... Конечно, Эмма слышала, рядом же стояли! Хорошо, что я молчал! Это я потом ей сказал, когда она затрясла своим пузом жирным и заплакала. Лучше бы заткнулась раз и навсегда... и вот рядом с такой... конечно, потому и получается, что я фигаро... потому что не хочу я больше – мозги устали, а только делать вид... Тут я знаю, что помог, что в случае чего сам до врача справлюсь... все эти звонки, пейджеры. Тревожные браслеты, минута – и нет человека, а без этой минуты он потом, может, ещё лет десять протянет или все сорок... как молодые пошли косяком на тот свет... ужас, ужас... и вот такая Рэйчел! Да чего она привязалась ко мне, корова, эта! Нет... лучше я позволю Деборе! Десять миль – не сто! Уж доберусь как-нибудь... доползу... хорошо, что машину наладил... как знал... ну, я всегда в начале декабря так её трясу! Дэн молодец, я ему верю... Вот он же тоже на своём месте! Такой головастый, а ни в какие инженеры и контору не лезет... своё дело, сам видит, как его работа проявляется... а что... я же по глазам уже понимаю, когда худо дело и пора доктора трясти... я ему же не говорю свой диагноз, как эта корова! На то он и доктор... пусть решает... а я-то сделаю... и точно совпадает когда, что он сказал... это же вот то самое, ради чего я тут... но они поверить не могут! Вот в чём беда – они все карьеру делают... только не тем способом, я уверен – бумагу зарабатывают! Резюме считаешь – нобелевскую давай, а потом приходят опыт перенимать... не зря же после всего ещё два года в гос-

питале отслужи... а если руки не оттуда растут, а если чутья нет, вот он, гад, боров этот, и пытал меня... чёрт... зачем она на Рождество операцию назначила?.. хотя... что такое праздник для человека, который от боли на стену лезет и простыню грызёт... ладно... Дебора... поеду... опять нудить будет, что пора оформить отношения. Что это за жизнь – на два дома... а и правда, что меня не пускает... нет... не созрел ещё – не готов... а то потом разбежаться – нет... это не для меня...

Наверное, я в отца пошёл. Он тоже не женился долго. Уже я родился, а он всё тянул, тянул и... ушёл к другой женщине. Мама говорила, что сама виновата – она не могла понять его. Он когда из Вьетнама вернулся, ему все бенефиты предлагали: учиться можно было – выбирай, но отец не пошёл. Он вообще ничего не хотел – ничего не умел и не хотел. Потом рассказывал мне, что никак от шока отойти не мог, как выжигали лес, и поля, и деревни, он на аэродроме в обслуге был, а всё равно всё видел и никак понять не мог – за что их? Так и не понял, говорил, мне по хрену, коммунисты они, или буддисты, или католики: терпеть не мог, как вокруг все делали карьеру, просто потому, что все делали... всё равно какую. Из его ребят один Боб только рвался домой – так он в свою джаз-банду рвался ничего больше не хотел, а остальные – все кто куда, и все высчитывали: сколько лет потратить надо, чтобы потом жить прилично?! На принцессах же не женишься, они где-то далеко на западе, там эти длинные

голые ноги и враки о сказке, которая вокруг... и в армии ни один не остался. Видно, не только там всё выжгли, но и душу в нас тоже. Пить начали, а он сказал себе: служить буду – только по-другому, людям. И пошёл в механики. Машины пошли со всего света, а он радовался, что опять надо новую учить – они все разные... и не женился долго. На жизнь хватало и на выпивку... он мечтал себе дом купить на колёсах и трак сильный, денегат подкопить и поехать куда глаза глядят... главное, что сам по себе и ремонт на дороге сам, а дом пустой – кого хочешь подсадишь, а не понравится – выгонишь, на дороге мало ли кого встретишь... Видно, гены – это не просто болтовня: я ловлю себя, что на отца похож... я же когда подрост, встречался с ним часто... Чего это меня разобрало так? Вот ещё два блока – и её дом! Ничего себе драйвей замело!».

Он остановился напротив входа, не подъезжая, вылез из кабины и пошёл за лопатой. Она всегда стояла сзади у двери. Сейчас дверь не поддалась сама из-за тяжёлого снега. Он подцепил её снизу, и, пока поднимал, за шиворот насыпалось много снега. Марк чувствовал, как он тает и течёт ручейком вдоль позвоночника вниз до боксеров! Чистил он долго. Ему нравилось кидать снег в стороны всё выше и выше на сделанные им сугробы. Ветер сметал с лопаты холодную пыль, и она ударяла ему в лицо. Дебора появилась, когда он уже хрустел лопатой по ступенькам. В халатике, запахнутом руками на полпути от талии к грудям, которые от этого ещё

больше выступали.

– Ты спятил? Я уже целый час жду, не одеваюсь. Всё смотрю в окно, когда же ты закончишь? – она говорила это напряжённо, с нотками злости и досады.

– Куда торопиться? – откликнулся Марк и оперся о лопату, лицо его оказалось чуть ниже её талии, и она с верхней ступеньки смотрела ему прямо в глаза.

– Ах так?!

– Не кипи, – успокоил её Марк, – всё успеем! Всё равно никуда не поедешь в такую метель.

Он знал, что она терпеть не может такую погоду, и шагнул в дом вслед за ней.

– Не мог двадцать баксов заплатить? Пожалел? Или не хотел побыть со мной? Тогда чего притащился? – ворчала Дебора и ёжилась. – Лезь в душ. Я сварю кофе.

Вот это ему нравилось: слова знакомые, таким приказным необидным голосом и не надо думать. Душ, кофе, потом она будет его убаживать, обцеловывать и ворчать, что потеряла целый час из-за его глупости... «или жадности» – вдруг приподнималась она на локте и смотрела ему в глаза так близко, что ресницы касались его носа.

– У-у-у-у-у! – и она грозила ему маленьким кулачком.

– Погоди, – он за плечи отодвинул её от себя. – Ты знаешь, Нордстрём сегодня на три часа опоздал. Думали, уже не приедет... бедная пациентка готовая лежала. Эти невротики приехали, проводами её всю опутали, приборов наста-

вили... думали, не приедет! Такое Рождество получилось...

– Да, мать звонила, сказала, что брат сможет прилететь только завтра и она всё перенесла... ничего... мы вдвоём справим! Правда? Ты никуда не сможешь?

– Куда? Как? Я в двойном плену! В снежном и нежном, – отшутился он. Она знала его привычку – вдруг вскочить и исчезнуть...

Комнату залили сумерки. Снег или ослабел, или покрывал свои же сугробы, которые глушили звуки, тишина уплотнялась под тяжестью, наваленной на окрестный мир, под ней еле шевелилась усталость и сливалась с этой тяжестью, а в самом низу был он, маленький человек, лежавший на кровати, обласканный, обцелованный любящей его женщиной, и он, как только расслабился, тут же улетел обратно в госпиталь, буран и дорогу.

Сон был таким глубоким, какой бывает после лыжной дальней прогулки, когда с мороза вваливаешься в жаркую комнату, где топится печка, дверца её открыта, на плите неспешно и независимо посапывает чайник, и после одного выпитого стакана заваренного на домашних травах чая тебя неудержимо валит на старенький диван, и ты улетаешь неведомо куда и, кажется, навсегда покидаешь этот белый свет. Было ощущение, что кто-то доведённый до отчаяния вымещал свою досаду на окружающем мире. Снежинки налетали друг на друга и склеивались, как склеиваются два стосковавшихся в разлуке тела. Заструги на глазах росли, позёмка,

наткнувшись на них, подлетала вверх, завихряясь, её сбивал очередной заряд снега, и всё повторялось. Можно было смотреть, потеряв счёт времени, на этот организованный снежный хаос, как смотришь на огонь костра, это был белый холодный, обжигающий огонь бурана. Во всём здесь была бесконечность: в количестве снежинок, холода, времени, пространства – всё было здесь неограниченно, и ты сам, окружённый этой бесконечной стихией, становился её частицей, бездумной и безвольной, – буран поглощал тебя, выбеливал и сметал все мысли, оставался лишь застывший бессмысленный взгляд. Всё становилось расплывчатым, безразмерным, единственным, приятным, желанным, усыпляющим, уносящим в бесконечность и в вечность... Буран. Пропадало желание что-то изменить, спрятаться от него, спастись, он втягивал в себя всё, ещё имевшее очертания, то есть свою индивидуальность и волю – единый цвет, единый звук, единое движение, хаотичное, бессмысленное и этим всеобъемлюще организованное и всесильное. Буран. Ровный рокот двигателя, жара в кабине до тех пор, пока не закончится горючее, белый звук заменит механический, наступит час блаженства и покоя. Буран. Сантиметры снега уже сменились футами, ярдами, вообще неизмеряемы и неосязаемы – белый мир не нуждается ни в каких цифрах, звуках и чувствах... это Буран – ненасытное чудовище вселенной.

Во сне глухой стук пробудил его. Все стёкла были окрашены бело-матовым цветом слоя льда, намертво пристывше-

го к ним, намертво остывший двигатель, намертво наполнившая сугроб тишина, машина, намертво погребённая под его двухметровым слоем, и невнятные обрывки слов откуда-то из поднебесья в подсугробье.

Лопата уже скребла по бокам джипа, по дверям, стёклам, крыше, стучала по капоту и задней двери то глухо и плоско, то точно и ударно, будто били по зубам. Он медленно открывал глаза, медленно проворачивал мысли и медленно переводил взгляд, рефлекторно хотел вздохнуть, но воздуха не было, щиток приборов не светился, ноги не двигались, пальцы рук дотянулись до ворота свитера и рванули его вниз, потом вдруг накинута лихорадка. Его стало трясти, он дотянулся до зажигания – ключ был в рабочем положении, но никакого проблеска на щитке... он задышался и вдруг стал понимать это, откинулся на бок на сиденье, упёрся ногами в стекло двери и потом, оттянув их немного, ударил подошвами стекло – ничего не произошло – снег снаружи плотно держал удар. Он хотел крикнуть, но не было воздуха. Он хлынул неожиданно сзади после удара чем-то очень тяжёлым в стекло. Марк потерял сознание от хлынувшего в его лёгкие кислорода и очнулся, уже когда его волокли за плечи по откинутым спинкам сидений назад в белую вечность. Знакомый дом был в двадцати шагах, весь облепленный, белый, застывший и безжизненный... но это только так казалось... внутри горел свет, прорезанный в белом слое ход высотой выше крыши автомобиля вёл к двери и по нему

два незнакомых парня, держа его за ноги и за плечи, несли в том же положении, как вызволили из машины.

– Счастлив твой бог, – сказал тот, невидимый, что был в головах, – хорошо, что Дебора увидела застрявшую у её дома машину и позвонила...

– А то тебя можно было бы вполне уже сохранить для вечности! – откликнулся тот, что был в ногах. – Давай поставим его и будем держать с боков... кажется, он ничего, не подморозился...

– Вроде, – согласился первый. – Эй, ты уже можешь сообщать что-нибудь или мозги ещё в холодильнике?

– Парни, откуда вы? – Марк пытался стоять на ногах и старался ухватить кого-нибудь из них двоих за рукав, чтобы не упасть.

– Я ж говорю, счастлив твой бог, что мы уже собирались идти на расчистку – это хороший заработок! И Дебора позвонила!

– Мы ей всегда убираем драйвей по-соседски... но она хорошо платит...

– Я сейчас! – он отпустил рукав, за который держался, чтобы достать деньги, и тут же рухнул на снежную дорожку!

– Эй, не спеши! Давай мы тебя в дом заведём, а деньги целее будут.

– Не беспокойся, пока ты очухаешься, мы ещё не раз пройдем мимо и пивка принесём...

– Иди, иди! Двигай ногами...

– Кончай трясти его... видишь, он совсем обмяк и отключился...

– Давай! Стучи в дверь, Дебора дома, давай занесём его, она сама не осилит...

– А?! Дебора, это ты? – Марк открыл газа и, не поворачивая головы, медленно переводил взгляд, не понимая, где находится.

– Кто же ещё? – она наклонилась к его лицу.

– А где парни? Надо с ними расплатиться!

– Какие парни, что с тобой? Ты мне уже целую историю рассказал! Какие парни?

– Которые откопали меня с машиной... ты что, не видела их, они же тащили меня, и ты встречала у двери?..

– Тебя? Где это было? Ты по такому снегу ещё куда-то таскался? То-то так поздно приехал... твоя смена четыре часа назад закончилась!

– Деби, что-то с тобой, а не со мной... я дотащился до твоей двери и отключился, и если бы не твои соседи, я бы задохнулся и замёрз в свой холодной машине прямо напротив твоей двери, а ты бы так и не догадалась посмотреть в окно...

– Подожди, подожди, я померяю тебе температуру... нука... лежи, не вставай...

И он снова в одно мгновение отключился, как от наркоза, когда ты видишь, как тебе прокалывают вену, лицо анестезиолога, движение его пальцев на плунжере шприца и...

А потом возник разговор, которого Марк боялся.

– Ты пойми: я – белая ворона. Белая ворона в этом мире, где всё поставлено с ног на голову, – я не хочу делать карьеру! А ты спрашиваешь в который раз, почему я не женюсь на тебе... – он попытался засмеяться и поцеловать её – не получилось. Она встала и оттянула вниз свитер, может быть, чтобы показать ему, какой он дурак и от чего отказывается... но он же всё знал это и без свитера вовсе... так, машинально. – Вот женюсь, и ты начнёшь подталкивать меня и заставлять, а я не хочу делать карьеру! Ты спрашиваешь, почему я не иду учиться дальше? Зачем? Это и есть делать карьеру. Потратить ещё десять лет, чтобы в тридцать семь наконец открыть свой офис, завести удачную практику и стать её рабом? Я не хочу ловить пациентов, убажывать параноиков, что они здоровы, врать больным, хотя сам сомневаюсь в диагнозе, волноваться за доходы, потому что надо содержать практику, сотрудников, семейство, машину для выезда, общаться с коллегами ради престижа, ездить на Багамы или Майорку, потому что так положено, отчислять на бедных, хотя государство тратит на военное дерьмо столько, что вынуждено скрывать это... Я не хочу, не хочу брать на себя ответственность за чужую жизнь, когда сам ни в чём не уверен, и думать о том, что будет. Моя работа – это сиюсекундный результат! Я хочу видеть, что помог человеку сейчас, а не думать, проявится то, от чего спасаю, или не помогло ничего... я хочу получать удовлетворение от своего труда сразу, тут же, на месте, как слесарь, который запустил мёртвый мотор. Он

всегда запускает самый мёртвый мотор! И я хочу, чтобы мой укол помог сразу, чтобы мой массаж снял боль, а сухой памперс вместо мокрого доставил удовольствие больному хоть на секунду и у него разгладились бы борозды на лбу! Я не хочу брать на себя ответственность диагноза, потому что они, как правило, основаны на интуиции... и все анализы хорошие, и во всех дырках человеческих всё в порядке, а ему больно, и он не спит, и думает о самом плохом, и не может себя заставить переключиться... А я прихожу к нему ангелом-спасителем, делаю укол, ставлю капельницу, даю таблетку, принимаю часть его страдания на себя, а врач – тот далеко и не видит, как это всё происходит, – только результат... он может воспользоваться моими глазами, руками, душой... Он лечит и вылечивает... или сдаётся, а я всегда помогаю – до самой последней секунды, до последнего вдоха... я нурс – нянька, сиделка, кормилец, медбрат... я тот, кто с детства с нами со всеми! Мать уходит на работу, в кино, на вечеринку, а нянька с дитём, врач уходит отдыхать, а с больным остаётся сиделка, которая каждую секунду рядом! Красная лампочка вспыхнула – и я тут как тут. Я меняю, колю, кормлю, утешаю, сажаю на комод, вожу в душ, катаю на каталке, переодеваю... я всё! И мне это доставляет радость и удовлетворение... потому что я белая ворона! Сегодня Рэйчел, эта корова, сказала мне: «Зачем ты так возишься с этой, она всё равно не вытянет?», а кто-то проходил мимо, и ей показалось, что услышал её слова, теперь она тря-

сётся, что стукнул менеджеру или дежурному врачу тут же. А она тупая корова, она по обязанности – сестра-сиделка, и не ей ставить диагнозы! Вот она точно будет делать карьеру. Ей можно и стоит, а мне не надо делать карьеру и терять на это годы, а потом дрожать за свой престиж, свой офис, свою практику... я не хочу... мне ведь хватает денег на всё, что мне надо. Или ты считаешь, что это нехорошо: стоять на месте, не совершенствоваться, не пытаться стать генералом? Да и то, если я женюсь на тебе, какая это будет неравная пара! Ты же делаешь карьеру и скоро вообще вырвешься в топ-менеджеры, а я задрипанный нурс – это не годится. А я не хочу, чтобы государство, в котором такое общество образовалось, выпотрошило мою душу с помощью своего вранья о равных возможностях для всех и необходимости учиться и совершенствоваться, чтобы укреплять своё положение и свою страну... ну, что? Молчишь? Ты не всегда молчишь... копишь силы, чтобы пойти в атаку! Не копи... ты сама белая ворона. Да, да, поэтому мы вместе... ты приехала делать карьеру и... влюбилась! Зачем? Это не входило в твои планы, и теперь сама мучаешься и меня хочешь увлечь. Разве тебе плохо или мне плохо?.. Что, надо потратить кругленькую сумму – мой двухгодичный заработок на свадьбу, чтобы все знали, как мы живём, и два месяца трепались об этом? А потом... и тебе нужен брачный контракт? Ещё не успели медовый месяц погулять на Коста-Браве, а уже думать должны, как оно будет всё делиться при разводе?! Нет. Дудки.

Не будет брачного контракта. Это топ-менеджеру надо думать до головной боли, как прочнее сесть в кресло, а для меня работа везде, в любом конце страны – и на Западе, и на Восточном побережье, а если тесно – то в любой стране годится нурс с моим послужным списком... не хочу жениться...

Вот хорошо, что буран нас от всего и всех отрезал. Даже телефон молчит, будто и волны засыпало, – все понимают, что никто никуда сегодня не тронется...

Кончай, Деби, терзать меня. Две белые вороны понять друг друга ещё кое-как могут, но в стаю белую ворону не пускают её ближайшие сородичи, и сколько ни крась перья, видно подпушку, а она неподобающего цвета, и тогда эту ворону рано или поздно начинают клевать и заклюют обязательно...

Казалось, у всех этих людей не было общего прошлого – общения, воспоминаний, встреч, разговоров... но общее будущее у них было обязательно! Даже если бы они больше никогда не увиделись, событие, которое они пережили, осталось в каждом из них и не могло исчезнуть из памяти. Оно могло обрасти подробностями, у каждого своими, которые появятся обязательно из глубины души от переживаний и своего понимания происходящего, но само событие у них навсегда. Можно сменить ботинки, костюм... кожа человеческая медленно отмирает и заменяется новой, печень обновляется раз в семь лет – всё требует замены для жизни по мере её протекания, но есть такие веховые события, когда

человек стоит перед пропастью и у него только две возможности без права выбора, а по воле судьбы: сверзнуться в бездну небытия или быть подхваченным ангелами и перенесённым на противоположный край бездны. Они не задумывались об этом, но это невольно присутствовало в их существовании и общении. Они были связаны болезнью, чужой болью, спаяны неотделимо и не могли пережить ни в каком варианте её по отдельности. И надежда, и доверие, с которыми они воспринимали, каждый по-своему, другого, будут главными чувствами до тех пор, пока шаги времени не разведут их... Эта рота, созданная волей судьбы для общего дела, вступила в борьбу с недугом, и каждый был в ней незаменим и ценен для борьбы, а цену эту можно было ощутить и определить только в ходе борьбы...

Боль была невыносимая, оглушающая боль. И чтобы вытерпеть её – не кричать, не рваться с места, как будто от неё можно убежать, она тихо уговаривала себя: «Это спасающая боль, если бы её не было, я бы умирала тихо и беззаботно и ничего бы не знала. А так – меня спасут, непременно спасут...» – и ей становилось легче, потому что она верила, что не напрасно страдает, что это боль во спасение, и другие знают, как ей больно, и непременно помогут. Потом, когда она лежала на каталке, вся опутанная проводами, под тёплыми одеялами, которые меняли, как только холод одолевал то, что они накопили, подплывала тёплая сиделка без шеи и без талии в белом хрустящем халате, она ловко заменяла

жёстко накрахмаленные остывшие покрывала-одеяла на тёплые, только что вынутые из шкафа, похожего на холодильник, где они набирались тепла. И меняла она их так быстро и ловко, что прохладный воздух не успевал даже щипнуть Эмму за ставшую сверхчувствительной кожу. А холодно казалось ещё и оттого, что она в полузабытье видела, как перевозка продирается сквозь метель, слегка вздрагивает на заступах снега на дороге и как ветер ударяет горстями льдистых снежинок в стёкла машины. Это отвлекало её от боли, Рождество окутывало детством, праздником, весёлой суетой, особым запахом веселья, пастельными нерезкими запахами от разложенных на стульях и диванах нарядов, смолистым ароматом хвои и горячего пирога... При очередном толчке она вдруг будто натыкалась на иглу боли и на мгновение проваливалась куда-то, где боль настолько сильна, что сквозь неё ничего не может пробиться...

Рядом возникало лицо Фортунатова с полузакрытыми глазами и безвольно качающейся головой. Она начинала его жалеть за бессонные ночи, которыми он сидел над ней, пока не образовалось мнение, что с ней, и не возникла перевозка, приготовленная операционная, которая ждала её, и надежда, что сегодня всё кончится в Рождество – волшебный день! Так или иначе, но кончится – всякое же бывает, и доктора ошибаются, и когда начинают копаться в живых ещё внутренностях, вдруг обнаруживают, что ничего уже сделать нельзя и лишь напрасно больному добавили муки к предыду-

щим сверх лимита, что эти новые перевалят её за черту терпения, и всё закончится: она перестанет что-либо чувствовать, а они – надеяться, что она сможет жить без боли и свирепого оскаленного ожидания её.

Эта привычка, что он всегда рядом и необходим ей безо всяких объяснений, не как обычно говорят – «как воздух» или что-то в этом роде, а просто необходим, и всё! Ну, например, как её собственное тело, в котором сейчас эта боль. Это рассуждение текло в её мозгу бегущей строкой независимо от всего остального происходящего: суеты вокруг её тела, проводов, щекочущих кожу, из чего она заключала, что ещё не всё потеряно, раз чувствует такое лёгкое касание, самого Фортунатова, которому разрешено быть рядом с ней, пока не увезут за стеклянные двери операционной, и он всё время мечется, чтобы не мешать этим людям, прикрепляющим к ней провода, сиделке, меняющей покрывала, сестре, которая входит и выходит, входит и выходит после того, как посмотрит в окно, и напряжение на лице этой женщины говорит ясно, что всё идёт не как рассчитано, что метель лишняя, что операция может сорваться, если доктор не прорвётся сквозь стену снега, что праздник испорчен, если даже и состоится, потому что отойти от такого долгого напряжения быстро не удастся, а день короток, и самой тоже надо пробиваться через эту снежную стену домой, а удастся ли, неизвестно всё, всё вопрос и тревога, и больше никогда она не согласится назначать операцию в Рождество! Никогда.

Очевидно, существует предел. Запас боли, терпения, времени, надежды, сил тела... она независимо ни от чего преодолела его и перешла в осязаемое небытие: всё слышала и видела, что происходит вокруг и даже внутри неё самой, но уже существовала в новом качестве и в новом измерении. Это её погружение было точно зеркально утреннему пробуждению после тяжёлой ночи, когда в момент перехода к бодрствованию ещё не понимаешь, где ты, что происходит, день или ночь за окном, где ты в этот миг и что с тобой. То, что Фортунатов рядом, было самым главным! Его голова, горячее тело, необыкновенные руки, которые она всегда ощущала на себе, если даже он был не рядом, и всё равно, как далеко и в каком настроении. Они были на ней – держали её, гладили, ласкали, и она готова и рада была всегда и всё только с ними – не взгляды, не губы, а руки, которые умели разговаривать, понимать и делать... О, они всё умели делать – ну, всё! Всё, что необходимо и вообще возможно в жизни: думать, писать, чинить, ласкать, разговаривать, сердиться, радоваться и даже быть частью другого тела – она была уверена, что его руки – только её, её тела! Очень важной частью, и поэтому, если их по какой-то причине не было или ей казалось, что нет, жизнь без всякой боли просто заканчивалась, как плёнка в кинопроекторе, и конец этой плёнки или жизни хлестал впустую воздух и щёлкал всё окружающее, то ли наказывая, то ли предсмертно угасая... Но с тех пор как она ощущала себя, Фортунатов был всегда рядом, и ру-

ки его не принадлежали ей, а были её очень важной или самой важной частью... Она никогда не говорила ему об этом, может быть, даже просто потому, что не смогла бы словами хоть приблизительно выразить всё это, а ещё и потому, что он сам говорил ей о её руках такие слова и так точно, что она уже и произнести ничего не могла, потому что не оставалось пространства в диалоге, как только повторять за ним слог в слог и в той же тональности то, что он уже сказал! А зачем это...

В молодости, когда она в метели и смертельной стуже повредила лодыжку и не могла ступить, он нёс её на руках через лес долго и трудно, и каждый раз, когда оступался в глубоком снегу, а потом подбрасывал её тело, чтобы она могла повыше прислониться к его груди и плотнее обхватить его шею, она так радовалась неожиданно для себя, что может долго и нежно обнимать его и утыкаться холодным носом в его щеку, шею, вязаную шапку, сползшую на ухо, и благодарила боль, не дающую опереться на ногу, что столько любви, накопившейся за совместную пусть ещё недолгую жизнь, и столько нежности могла вливать в него, и этот непрерывный ручей соединял их куда крепче всяких слов, клятв, а они и не клялись никогда друг другу... А что вообще может объединить людей сильнее этого потока, когда непонятно в какую сторону он направлен, от кого к кому, откуда куда?! Это же ни измерить, ни увидеть, ни определить – это общий поток какого-то внутреннего эфира, легко уязвимый, трепетный,

но неимоверной силы, как магнитные волны, которые держат планету или сдвигают её с оси на общую погибель...

Сколько времени протекло, она не могла представить, а если бы спросила и получила ответ, не смогла бы соотнести с происходящим – боль была другая, свет дневной, но с потолка – окон вообще не было. Была сиделка с колышущимся моржиным телом под белым халатом, тихое жужжание дросселей, щёлк в мониторе на штанге, пониже нависающих над ним прозрачных пакетов, капельницы, и... сидящий рядом с каталкой Фотунатов – остальное не важно. Веки снова сомкнулись.

Они сидели рядом на ступеньках. Какая-то птица тенькала одно и то же, будто ученик, у которого не получается пассаж на флейте, и он снова повторяет его, чтобы играть, не сбиваясь.

– Ты боялся, что я стану неподвижной?

– Нет. Я знал, что всё будет хорошо.

– Знал?

– Знал.

– Как это?

– У беды свой запах. Его не было.

– Ты в это веришь?

– Кто однажды пережил такое, особенно в детстве, не может забыть! Даже не так: остаётся рубец. Когда беда близко, он вгонят в тело штырь тревоги, когда она рядом – он воспаляется и болит сильнее, чем у того, за кого ты болеешь! Это

общая боль, и разделить её невозможно. Она остаётся ещё одним рубцом, и так всегда. Боль свивает два в одно, а то, что остаётся помимо неё, – лишнее.

– А если со мной бы случилось это?

– Зачем? Я же сказал тебе, что не могло случиться. Я был рядом. Она бы сначала ударила меня...

И они почувствовали вдруг, что одновременно вспомнили: как он поднял её с каталки, гипсовый воротник краем упирался в его ключицу, ему было очень больно, но он не встряхнул её, чтобы она оказалась повыше, как тогда в бургане. Ступени и двор были расчищены от снега до серой плитки, бок машины был наизготове с открытой дверцей.

Он не сказал ей, что у него с того дня полгода назад, когда Нордстрём вышел, потупившись, после операции и открыл ему правду, что-то так ёкнуло с левой стороны и ударило в бок чуть пониже сердца, что он задохнулся, и с тех пор эта боль не проходила. Он привык к ней и уже не мог представить того времени, когда её не было. Теперь же, когда от быстрой ходьбы она становилась главной и уже руководила им, запах, которого не было в тот день, теперь преследовал его постоянно.

Она тоже не сказала ему, что, когда что-то оторвало её от мира, в котором существовала, одна ниточка всё же соединяла её, как пуповина, с ним, с их общей болью. Не сказала потому, что это можно только пережить – не описать, не вычислить, не открыть и доказать научно, не, войдя в чу-

жое тело, увидеть и направить – можно только самой догадываться, что это есть, и невозможно определить, когда появилось и куда удалилось. Но именно это одно могло удержать руки хирурга в тех пределах, за которые нельзя было выходить, и их сдерживали проволоочки, стрелки и лампочки. Лишь одно это эфемерное, непредсказуемое, как полёт мотылька, движение было тем, что спасает и возвращает в свет, который погас на час, два, три... чтобы руки вернули времени сущность жизни, и они делали это сторожко, необъяснимо точно и потому уверенно, чтобы ниточка эта не оборвалась, а сшивала, свивала в одну две боли, непохожие, невероятные и необходимые...

Да, она не сказала ему, что знает это: правду, которую доктор открыл только ему, боль, которая была только у него, запах, который не оставлял её теперь тоже ни на секунду. И ещё она не сказала ему, что настоящее счастье пришло к ней именно в тот момент, когда она открыла глаза, вернулась в мир и вошла в его боль, когда они уезжали домой вместе, и что никакими словами, звуками и красками выразить это невозможно.

Вот эти две не сказанные друг другу известные им правды были самым главным с того дня в их жизни, ставшей одной на двоих.

Через десять дней в обжигавшее солнцем утро в сверкающем чистотой и острыми углами офисе по разные стороны стола сидели Нордстрём и Эмма.

– Вы совсем не смотрите на меня, простите, уткнулись в свой компьютер и свои снимки...

– А зачем мне? Это ваши (!) снимки. Всё, что у вас поменялось в теле, – моя работа, а что внутри, во многом от вас зависит. Организм всегда сопротивляется любому вмешательству, он хочет быть таким, каким его сделали папа с мамой по божьему велению.

– Вот как?

– Да! И невозможно порой преодолеть этот рубеж... я вот, например, очень хотел бы быть похожим на героев Ремарка...

– Ремарка? – Эмма даже чуть приподнялась со стула. – Что это значит?

– У него во всех романах и французы, и немцы, и евреи... пьют и едят в любое время суток! Иногда мне неодолимо хочется тоже так! Даже бывает необходимо... и мужчины и женщины...

– И что вам мешает хотя бы попробовать?

– Хм... организм и воспитание...

– Организм... я ещё понимаю, а воспитание – это, наверное, преодолеть можно?

– Как сказать! Моя мама, даже когда приходили гости, говорила мне: «Мальчик, ты пьёшь уже вторую рюмку»...

– В Швеции так говорила мама?

– Да! А что вы удивляетесь?..

– Мой папа говорил то же самое!!!

– Ничего удивительного – это говорило другое поколение... Здешним трудно понять это, мир сильно поменялся. Эмма – это разве русское имя?

– Нет. Мой отец был рабочим и увлекался философией... назвал меня в честь Канта, Эммануила Канта...

– Высокая фантазия!

– Да! Она мне дорого стоила в жизни!

– Как это?

– В советском государстве... имя тоже вызывало подозрение... Курт, Генрих, Соломон, Рахиль, Соня... Да! Я всю жизнь должна была замаливать чей-то грех, доказывать, что не еврейка, и нести за это пожизненную кару...

– Действительно... странные русские, я никогда не слышал такого...

– Не слышали? Посмотрите вокруг или в коридоре вашей клиники – сколько чёрных вокруг...

– Это другое... рабы во все эпохи были, даже в самой просвещённой и благополучной Греции... Вот оно что... – он будто сменил маску, – приговора никакого не будет, этот воротник снимут с вашей шеи через две недели, и живите свободно безо всякой подозрительной мысли о болезни, а мы с вами встретимся через месяц, а если вам надо будет или захотите – телефон у вас есть... Мы сделали всё, что доступно современной технологии в медицине... Нигде в мире вы не найдёте другого, и в этой стране тоже... есть готовые методики, которые совершенствуются и доводятся до каждого

специалиста, и, пожалуйста, не сомневайтесь... всё меньше и меньше творчества остаётся хирургу, его интуиции и решительности. Вы не сосчитали, сколько людей работало рядом со мной?.. И мне не дано права отступать от разработанной технологии. Да, все эти провода, опутавшие вас, и все эти приборы, стоявшие чуть в стороне и следившие за мной, за вами, вашими ниточками-нервами, которые опутала опухоль, не дали бы мне возможности рыпнуться и сделать что-то по своему усмотрению... Сотая доля миллиметра – и беда... это же нервы – командные провода нашего тела... нельзя их сбивать с толку! Господь каждому человеку дал столько этих проводочков, что ими можно несколько раз обтянуть Землю! Каждому! И ни одного лишнего миллиметра...

А имя всё равно не случайно, хоть его придумал ваш отец! Имя, данное с рождения, так соответствует этому человеку, или наоборот: человек своему имени... Не делайте резких движений, когда ходите, в машине, ночью... спите без воротника и не переохлаждайтесь, и ещё хотел поблагодарить вас за терпение – вы же помните, какая метель была...

«В самом деле, здесь всё самое! Не только обыкновенная метель, но и гордость за неё».

Время утекало теперь, как тающий снег, а таял он очень медленно даже на ярком и уже горячем солнце. Он был самостоятельным и не поддавался. Если бы он мог мыслить, то сообразил бы, что пора, но он слишком бел, чист, независим и самостоятелен – вот вытекает тоненький ручеёк из-под

сугроба, и этого достаточно, чтобы люди думали, что зима закончилась и пришла долгожданная пора. Скоро расцветут магнолии и удивят своей откровенной открытостью и даже бесстыдством, неодолимый их запах будет возбуждать, как запах горячего женского тела, ждущего слияния с другим, но вдруг сугробный холод ранним утром пахнёт на эти доверившиеся чувствам цветы, и они почернеют к полдню, свернут и сбросят чёрные лепестки на него, на белый сугроб, и он будет ещё дольше радоваться, покрытый тёплыми чёрными осколками несостоявшейся чьей-то встречи...

Неожиданный звонок доктора встревожил её и заставил невольно напрячься.

– Что-то случилось?

– Нет, не волнуйтесь! Мне надо увидеть вас, и, пожалуйста, вызовите перевозку только в один конец... дальше я повезу вас сам...

– Что значит «повезу»? – её голос звучал очень напряжённо и неуверенно...

– Я же говорю вам: ничего нет угрожающего и сомнительного... я хочу показать вас одному своему коллеге и повезу вас к нему сам, а потом доставлю домой. Вот и всё.

– На сколько мне вызывать машину?

– На шесть часов, мой приём заканчивается в семь, и вы будете моим последним пациентом сегодня...

В офисе было пусто. Девушки за стойкой собирали файлы, расставляли папки по шкафам вдоль стен и уже готови-

лись к завтрашнему дню. Эмма пришла вовремя и ждала вопросов доктора. Он пристально смотрел на неё и не сводил глаз даже на компьютер. Ей показалось, что он хочет увидеть что-то под её кожей, но шрам на шее был сзади и прикрыт воротничком блузки.

– Вы приехали, как я просил? На перевозке?..

– Да, конечно, – она не понимала, зачем она тут, и решила спросить напрямую: – Доктор, за недолгое время я у вас шестой раз! Что-то идёт не так?

– Успокойтесь, Эмма, вы же знаете стандартные установки: если бы что-то было не так, я бы сразу сказал вам. Мы не имеем права лечить вслепую!..

– Я знаю, только не уверена, что это помогает вам...

– Верно! С вами приятно говорить!

– Поэтому вы вызываете меня так часто?

Он долго размышлял...

– Отчасти...

– Серьёзно?

– А почему вы удивляетесь? Разве так не может быть?

– И как это понимать?

– С женщинами бывает трудно говорить об этом...

– Я не женщина, я пациентка...

– И женщина... – он долго молчал, будто хотел сообразить, как выразить мысль. – Я в некотором роде, понимаете ли, стал вашим заложником. Говорю с вами так откровенно, потому что вы умный, образованный человек, и я верю,

сможете меня понять. У вас была очень сложная ситуация, и, как вы видели, очень много людей и приборов наблюдали её. Не ради каких-то экспериментов или исследований, но ради вас, ради страховки. Пока что нет другого инструмента, кроме рук человека и его глаз. Одно неправильное или чрезмерное движение могло нанести вам непоправимый вред вместо спасения и избавления. Говорю вам так, как было и как есть. Всё теперь миновало благодаря этим людям и их усилиям, они следили, чтобы ни одна лишняя сотая миллиметра не была затронута при удалении вашей опухоли... просто для вас... этот нерв мог в повреждённом состоянии сделать вас неподвижной... не пугайтесь, прошу вас... всё позади...

– Но почему вы молчите?

– Вам предстоит шесть или восемь процедур для того, чтобы мне быть уверенным...

– Почему?

– Я вам сейчас нарисую, потому что на рентгеновском снимке вы не сможете разобраться в серых тонах. Постараюсь чёткими линиями. Опухоль могла войти в то отверстие в позвонке, через которое проходит нерв. Туда хирург не может проникнуть, и это не осязаемая опухоль, как обычно человек представляет, – всего несколько невидимых клеток внутри позвонка на теле нерва могут через какое-то время опять стать началом опухоли... это надо предотвратить...

– Этой проклятой химией?

– Благословенной!

– И...

– Я должен дать направление пациенту – направить его на проведение этой процедуры и порекомендовать подходящих врачей и госпитали, где это делают...

– Почему вы молчите?

– Я просил вас приехать на перевозке, потому что хочу сам вас отвезти к своему другу – специалисту, который сделает это безукоризненно, а прежде посоветоваться с ним... и чтобы вам не пришлось ждать, пока у него появится окно, место, возможность...

– Это где-то далеко? Сегодня?

– Да, сегодня... и не близко... позвоните, пожалуйста, своему мужу... я вас привезу домой сам...

– И страховка это покрывает?

– Конечно, даже если он не принимает вашу страховку, он сделает для вас исключение, это мои проблемы. Вам это ничего не будет стоить...

– Скажите, доктор, откровенно скажите – здесь ничего не делается просто так! – чему я обязана?..

– Я уже сказал вам, что чувствую себя вашим заложником... это касается больше не вас, а меня! И я должен вам быть благодарен, что соглашаетесь поехать со мной и снять камень с моей души и дать мне возможность работать дальше...

– Даже так?!

– Да, именно! В нейрохирургии идут единицы... это очень

опасный вид хирургии и образа жизни... бывают обычные случаи, а иногда вот такие... и ошибка может мне нанести такую травму, вызвать такую неуверенность, что я не смогу работать дальше...

– Вы понимаете, в какую я попала ситуацию?! Я могу стать причиной изменения всей вашей карьеры, а может быть, и жизни?!

– Давайте поговорим об этом в другой раз... и не в офисе... время ехать... сейчас дороги забиты до отказа...

Эмма лежала в сером сумраке утра, вливавшемся в комнату через окно безо всякой занавески. Можно было опустить глухую шторку и превратить комнату в темный подвал, но она просыпалась под утро и любила смотреть на изменчивое небо: на облака, меняющие свой цвет и форму, на холст небосвода и еле заметные в нём дырочки звёзд – эти изменения невольно настраивали на непонятную радость от движения жизни и участия в ней, раз ты всё это видишь и воспринимаешь. Она пыталась понять, что с ней происходит, – с её телом, измученным болью, её обновлёнными и не совсем ясными, какими-то размытыми, смазанными, как на свежей акварели, красками... Фортунатов лежал на соседней кровати, и ей хотелось перескочить узкое расстояние между ними, нырнуть к нему под одеяло и прижаться, притиснуться, вытянувшись в струнку, как она делала в детстве с самого раннего возраста с отцом. Он был такой надёжной защитой от всего и всегда, везде – днём, ночью, в любой трудной си-

туации, в любом запутанном и непонятном вопросе и при любых обстоятельствах – ему можно было всё доверить, всё рассказать, избавиться от всех волнений и тревог. Надо было просто крепко прижаться к его телу и растаять в его тепле – тогда мир становился добрым, понятным, привлекательным, и всё, что происходило в этом мире, становилось открытым, дружелюбным и приветливым... Она даже не представляла себе другого существования, даже не задумывалась, что может быть по-другому. Так было всю жизнь сначала с отцом, потом появился Фортунатов, и всё это привычное и понятное как-то само собой перешло к нему, стало необходимо с ним. Отец не пропал, а как-то чуть отодвинулся невольно, потому что у неё появился мужчина. Не отец, а мужчина, который стал её мужем и одновременно отцом. Это невозможно было никому объяснить, но для неё это было совершенно ясно и естественно. Она привыкла так и не представляла, что может быть иначе. У кого-то, может быть, совсем не так, но что ей до этого... её мужчина стал ещё и продолжением её отца. Возможно, она неосознанно ждала такого, поэтому сразу доверилась ему вся без какой-либо утайки. У неё не то что не было тайн от него, но даже своих не известных ему мыслей. Он ничего, казалось бы, и не делал для того, чтобы так завладеть ею, а может, и не думал об этом. А она совершенно незащищённо и безропотно стала его частью, принадлежащей по желанию. Наверно, самой судьбы и, конечно, её собственному. Она не то что не сопротивлялась этому, а на-

оборот – радовалась каждому возможному случаю убедиться в этом. В любой жизненной ситуации, в любой момент, когда они вместе улетали в какие-то неведомые высоты радости и слияния. По его реакции она понимала, хорошо ли ей или что-то не так и что надо сделать, подправить, изменить, сказать, чтобы никакая, даже малейшая щель не возникла между ними. Она думала, не формулируя этого, а лишь ощущая, что тогда она не сможет существовать, жить, быть самой собой. Она была с ним, с Лёньчиком – не лучшим всех на свете, не безгрешным, исключительным – это всё было совершенно неважно, он был единственным необходимым для её жизни – и всё!

Когда возникла боль, а потом стало ясно, что пришла беда, она безропотно отдалась им и верила словам Лёньчика, что «всё будет хорошо», потому что невозможно было представить, что может быть как-то ещё, кроме «хорошо». Хорошо, как это было до сих пор, потому что жизнь – это когда он рядом и всё хорошо. Она не испугалась, потому что он был рядом. Она ждала, когда он сделает, что боль пройдёт, делала всё, что он ей говорил, и знала, что именно так надо, что всё лишнее, мучающее он отбросит, и ей останется только слушать его и слушаться. Так и происходило каждую ночь, когда он менял ей мешки с какими-то семенами, нагретыми в печке, давал таблетки, возил на разные обследования, анализы. Воевал со страховками, доходя до бешенства, и своим напором и уверенностью, что надо не так, а так,

преодолевал даже этих неподдающихся бюрократов, захвативших в мире всё абсолютно, кроме его веры, что над ними есть некая справедливая сила, которой противостоять никто и ничто не может. Даже когда он сердился, раздражался, психовал, метался в ярости, повышал голос, она знала, что это не на неё, а из-за тупой боли, которая не может взять в толк, что ей всё равно придётся отступить и отпустить её, его Эмму. Она только молилась, чтобы он сам выдержал все эти испытания и не упал. То, что он не отступит, она знала и даже не смогла бы понять, что так может быть, если бы кто-то стал внушать ей обратное. Она наблюдала за ним и жила в тревоге за него, как за часть самой себя. Вот это выражение из Священного Писания: «и станут они – одна плоть» – было про неё и про него. Одна плоть, по какой-то природной причине разделённая и втиснутая в две оболочки, но, конечно, одна плоть. Это обнаружилось сразу во время их встречи и подтверждалось каждый день – они одновременно вдруг начинали радоваться и смеяться, сами не понимая отчего, боль накрывала их обоих одновременно, как внезапный ливень, обрушенный среди шумного города или поля, даже сны! И сны были похожими или одинаковыми и в одну ночь. Они спали, перепутав руки и ноги, притиснувшись головами и на одной половине широкой кровати, а другая всю ночь пустовала. Это теперь, когда пришла беда, он решил, что должен быть рядом, но не беспокоить её ни единым движением, которое неизменно возрождало боль. Он ложился

рядом, тихонько выдыхая в её шею и затылок, так, что шевелились завитки волос и щекотали ему нос и веки, потом, когда она наконец засыпала, тихонько по миллиметру отползал назад, перебирался на свою кровать и тут же опрокидывался в сон, как аквалангист с борта катера в воду, в неизведанную глубину. Но при любом её шевелении или невольном звуке его глаза в щёлку приподнятых век сквозь решётку ресниц наблюдали несколько мгновений, что происходит, не надо ли вскочить и что-то сделать, и снова через несколько секунд он оказывался в недоступной глубине сна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.